

ПЯТЕРИЦА

ЦИКЛ ИЗ ПЯТИ КНИГ · КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСОВЫЕ ИКОН

Пока мы помним лицо, он спит



РОМАН

АЛЕКСАНДР ЖАРКОВ

МОСКВА · 2026

Александр Жарков

Часовые икон

<https://litres.ru/74679908>

SelfPub; 2026

Аннотация

Молодая реставратор Ника Слепцова не верит в чудеса — она верит в порядок: дерево, левкас, краска, лак. Но на иконе Спаса Нерукотворного, которую она восстанавливает, появляются тёплые красные капли, а под золотым окладом оказывается четвёртая фигура — без лица. Ника понимает: иконы — не просто образа, а замки, и пока кто-то помнит запертое лицо, оно спит. За иконой приходят коллекционер из Рима, старообрядческий ключник и Канцелярия литургической безопасности. Чтобы удержать трещину, Нике придётся стать часовой — и заплатить за это памятью. Второй роман цикла «Пятерица».

Содержание

Пролог. Четвёртый	4
Интерлюдия I. Заложная грамота	14
Глава 1. Кровь и охра	19
Глава 2. Устав Часовни	30
Глава 3. Собор	42
Глава 4. Три делегации	54
Глава 5. Коллекция	63
Конец ознакомительного фрагмента.	71

Александр Жарков

Часовые икон

Пролог. Четвёртый

«Икона Спаса Нерукотворного, дерево, левкас, темпера. Оклад серебряный, золочёный. На доске четыре фигуры. Четвёртая — без лика. Состояние: требует раскрытия». Из акта технического обследования, январь 1933 года

В январе 1933 года церковь Спаса на Бору разбирали по кирпичу. Не взрывали — тогда ещё умели не спешить. Кирпич складывали в штабеля, штабеля накрывали рогожей, рогожу присыпало снегом, и к утру церковь становилась похожа на человека, который лёг в сугроб и пытается притвориться, что он тут не стоял.

Пётр Слепцов, реставратор Центральных государственных реставрационных мастерских, двадцати девяти лет, в валенках и чужом тулупе, фотографировал иконостас. Фотографировать было холодно. Пальцы не гнулись, затвор камеры приходилось нажимать большим пальцем, а большой палец у Петра был отморожен ещё в гражданскую и слушался плохо.

Он снимал не иконы. Он снимал порядок, в котором они

стояли. Это было единственное, что можно было вынести из церкви целиком.

Церковь стояла у Боровицких ворот с четырнадцатого века. Её перестраивали, подновляли, закладывали в неё приделы, как в старое пальто вшивают новые карманы. Внутри было тесно от времени: фрески на стенах, надгробия под полом, иконы в три яруса, паникадило, которое помнило ещё царя Алексея Михайловича. Снаружи церковь была белая, с узкими окнами и одним куполом, и снег делал её ещё меньше, чем она была.

Фрол Тарасович ходил по церкви, как хозяин по складу. У него была кожаная куртка, список на листе из школьной тетради и привычка проверять людей по списку, как проверяют вагоны. В списке было шесть фамилий. Пётр помнил семь.

— Слепцов, — сказал бригадир. — Хватит щёлкать. Снимай оклад.

— Какой оклад? — спросил Пётр.

— Спаса. Серебро на учёт. Металл нынче дорогой.

— Сначала лицо.

— Что?

— Сначала лицо, — сказал Пётр. — Оклад снимают после того, как описано лицо. Иначе можно поцарапать.

Фрол Тарасович посмотрел на него так, как смотрят на человека, который в очереди за хлебом начал объяснять теорию относительности.

— Ты мне тут... — начал он.

— Пусть снимет, — сказала женщина.

Она стояла у стены, у самого края лесов, и Пётр не заметил, когда она вошла. Лет шестидесяти, в чёрном пальто, в мужских валенках, с плетёной корзинкой, из которой торчали катушки. На пальце у неё был напёрсток, на шнурке — очки. Пахло от неё не ладаном, а машинным маслом и мятой.

— Аграфена Матвеевна, — сказал Фрол Тарасович без радости. — Вы тут по какой линии?

— По музейной.

— Музей в другом здании.

— Музей везде, где я стою, — сказала она.

Фрол Тарасович решил не связываться. Он махнул рукой, и двое рабочих подняли оклад.

Серебро было тяжёлое. По краю шла скань, в углах — чернёные дробницы, на среднике — лик, выпуклый, закопчённый, с двумя ангелами по сторонам, которые держали плат за верхние углы. Оклад сняли и поставили на попа, как щит. Под ним оказалась доска.

Пётр подошёл ближе.

Доска была старая, липовая, в ковчеге. Краска потемнела, но лицо держалось. Спаситель смотрел прямо, строго, чуть устало — так смотрят люди, которые давно всё знают и не спешат об этом говорить. По сторонам — два ангела, маленькие, в белых одеждах, с крыльями, написанными тонко, почти прозрачно. Внизу, у самых ног, была четвёртая фигура.

Она была в коричневом. Плечи, руки, сложенные на гру-

ди, — всё было. Не было лица.

Не то чтобы оно было замазано. Оно было стёрто. На месте лица лежал ровный светлый левкас, как будто кто-то аккуратно срезал верхний слой и остановился, не дойдя до грунта.

Рабочие замолчали.

— Это по описи? — спросил молодой, по фамилии Митя.

— По описи, — сказала Аграфена Матвеевна.

— Тут написано: три фигуры.

— В описи ошибка.

— Четвёртый кто? — спросил Митя.

— Художник, — сказала женщина.

Фрол Тарасович хмыкнул.

— Какой художник? Это икона. Тут святые.

— Тут всё, — сказала Аграфена Матвеевна. — И святые, и художник. Он себя писал. Не дописал.

Пётр смотрел на пустое место. Ему было не страшно. Ему было стыдно, как будто он заглянул в чужую комнату и увидел там себя.

— Это же мы, — сказал вдруг рабочий Кузьма.

Он стоял ближе всех, низкорослый, в фуфайке, с лицом, красным от мороза. Он сказал это просто, без мистики, как говорят «это наша смена».

— Что? — спросил Фрол Тарасович.

— Ничего, — сказал Кузьма. — Я за ломом.

Он пошёл в дальний угол, за леса, где стояли инструмен-

ты. Пётр слышал, как скрипнул снег под его валенками. Потом звук пропал.

Кузьма не вернулся.

* * *

Его искали час. Обошли церковь, подклет, двор, снег у Боровицких ворот. Фрол Тарасович кричал в пустоту, и голос у него срывался. Митя нашёл на полу фуфайку. Внутри фуфайки ничего не было. Только рукавицы, аккуратно сложенные на груди, как складывают руки покойнику.

— Может, вышел? — сказал Митя. — За воротами живёт.

— В чём вышел? — спросил Пётр. — В одном свитере? На улице минус двадцать.

Фрол Тарасович достал список и стал водить пальцем по строчкам. Пётр смотрел через его плечо. В списке было шесть фамилий. Кузьмы не было.

— Нас шестеро, — сказал Фрол Тарасович.

— Было семеро, — сказал Пётр.

— Ты мне голову не морочь. — Фрол Тарасович сложил список и убрал в карман. — Шестеро. Я сам составлял.

Пётр посмотрел на фуфайку. Он попытался вспомнить лицо Кузьмы. Он помнил голос, помнил, как тот говорил «это же мы», помнил красные от мороза щёки. Лица не было. Как будто кто-то взял и стёр.

Он вышел на улицу. Снег шёл крупный, тяжёлый, и в нём тонули купола. Церковь стояла без креста, с открытым куполом, и внутри у неё было темно, как в колодце. На лесах кто-

то оставил фонарь. Фонарь горел, хотя его никто не зажигал.

Пётр постоял, пока глаза не привыкли. В темноте у лесов, там, где Кузьма пошёл за ломом, стояла фигура в фуфайке. Она была нечёткая, будто её рисовали мокрой кистью по мокрой бумаге. Пётр сделал шаг. Фигура не двинулась. Он сделал второй. Фигура подняла руку, и Петру показалось, что она показывает не на него, а мимо — на икону, на пустое место внизу.

— Кузьма, — сказал Пётр.

Снег на секунду перестал идти. В тишине Пётр услышал, как в церкви, в открытом куполе, гудит ветер. Потом снег пошёл снова, и фигуры не стало.

Аграфена Матвеевна ждала его у саней.

— Не ищи, — сказала она. — Его больше нет.

— Он умер?

— Хуже. Его вынули из списка. — Она поправила корзинку. — Ты видел лицо?

— Чьё?

— Четвёртого.

— Там нет лица.

— Вот именно. — Она достала из корзинки иглу. — Поэтому он и спит.

* * *

Они работали в сторожке, в двух шагах от церкви. Там была печка, стол, запах мокрой шерсти и керосина. Икону положили на стол, лицом вверх. Пётр держал фонарь. Агра-

фена Матвеевна села на табурет, поднесла к глазам очки на шнурке и стала шить.

Она шила по краю оклада, вдоль кромки, где серебро сходилось с деревом. Золотая нить была тонкая, почти волос. Игла шла ровно, стежок к стежку, и Пётр слышал, как нить скрипит в металле.

— Зачем? — спросил он.

— Чтобы держалось.

— Оклад?

— Лицо.

Она шила молча. Пётр смотрел на её руки. Руки были старые, в трещинах, с коротко остриженными ногтями. Такие руки бывают у людей, которые всю жизнь работают с мелкими вещами и никогда не жалеют их.

— Ты знаешь, что это за икона? — спросила она.

— Спас Нерукотворный. Семнадцатый век. Московская школа.

— Это то, что написано в акте. Я спрашиваю, что ты видишь.

Пётр посмотрел на доску. На лицо. На пустое место внизу.

— Я вижу портрет, — сказал он. — И ещё одного человека, который его писал.

— Хорошо. — Она кивнула. — Ты не дурак.

— Кто он?

— Первый часовой. — Она затянула узелок. — Он видел лицо. Не так, как мы. Мы видим краску. Он видел лицо, ко-

торое помнит Свидетель. И он написал его. А себя не смог.

— Почему?

— Потому что себя не пишут по памяти. Себя пишут с зеркала. А зеркал тогда не было. Или были, но он боялся.

— Чего?

— Того, что увидит.

Она откусила нить. На окладе остался золотой шов, тонкий, как трещина.

— Теперь слушай, — сказала она. — Ты возьмёшь икону. Не в музей. В музей пойдёт список.

— Какой список?

— Тот, что в саях. — Она кивнула на дверь. — Он написан в девяносто девятом году. Хороший список. Никто не отличит. Ты сегодня же отвезёшь его в музей и сдашь по акту. Скажешь: сняли с иконостаса. А эту — в храм Трёх Свидетелей, что в Замоскворечье. Отдашь отцу Николаю. Скажешь: от Аграфены. Он поймёт.

— Почему я?

— Потому что у тебя рука. — Она посмотрела на его пальцы. — Я видела, как ты держишь кисть. Ты не боишься тёмного.

— Я боюсь.

— Это одно и то же. — Она встала. — Кто не боится, тот ломает.

Пётр завернул икону в одеяло. Она была тяжёлая, не тяжелее ребёнка. Он положил её в сани, сверху накрыл рого-

жей, потом сеном. Аграфена Матвеевна сунула ему в карман катушку золотой нити.

— Зачем?

— Пригодится.

— Я не умею шить.

— Научишься.

* * *

У Боровицких ворот их остановил караул. Молодой, в тулупе, с винтовкой, которая казалась длиннее его самого.

— Что везёшь?

— Доски, — сказал Пётр.

— Какие доски?

— Старые.

Караульный посмотрел на сани. Потом на Аграфену Матвеевну. Она достала из корзинки бумагу, сложенную вчетверо, и протянула ему. Он читал долго, шевеля губами. Потом вернул.

— Проезжайте.

Они проехали. Пётр обернулся. Церковь стояла в снегу, без креста, и в её открытом куполе кружился снег. Ему показалось, что в темноте у лесов стоит человек в фуфайке и смотрит им вслед. Он не стал присматриваться.

— Не оборачивайся, — сказала Аграфена Матвеевна.

— Я не оборачиваюсь.

— Хорошо.

Она шла рядом с санями, держась за оглоблю. Снег ло-

жился ей на плечи, и она не смахивала его.

— Пока мы помним лицо, он спит, — сказала она.

— Кто?

— Тот, кто помнит.

Она сказала это просто, как говорят о погоде. Пётр не переспросил. Он почему-то понял.

* * *

Через тридцать пять лет у Петра Слепцова родится внучка. Её назовут Верой. Она будет держать эту икону до января две тысячи двадцать шестого года. А потом её дочь, Вероника, будет стоять перед ней и думать, что видит трещины.

Она увидит больше. Но не сразу.

Интерлюдия I. Заложная грамота

«...аще кто в притвор внидет с прошением или исповедию, да не изыдет, дондеже слово не изречет. А кто слово нарушит, тот имени лишится, и дверь его не помнит. Лета 7174 (1666), октября в 14 день». Закладная грамота прихода Трёх Свидетелей

В октябре 1666 года в Москве шли дожди. Не те летние, которые смывают пыль с крыш, а тяжёлые, осенние, от которых земля в подклетах становилась чёрной и жирной, а кирпич набухал так, что стены пахли рекой.

Церковь Трёх Свидетелей ещё не была церковью. Была яма, был фундамент из белого камня, были леса, и было подземелье, которое строители называли «слухом»: низкий свод, две комнаты, ход к реке. В слухе пахло мокрой известью и мышами.

Там собрались пятеро.

Поп Иоанн, настоятель, сорока двух лет, с руками, испорченными земными поклонами. Дьяк Феодосий, худой, с чернильницей на поясе. Иконописец Савва, по прозвищу Немой, потому что говорил мало, а смотрел долго. Вдова Устинья, которая шила золотом по заказу и умела держать иглу так, что шов был тоньше волоса. И ещё один человек, имени которого не записали. Он сидел в углу, у самой стены, и не снимал капюшона. Его называли Свидетелем. Не пото-

му, что он был свидетелем. Потому, что он помнил.

— Беда не в том, что мы строим, — сказал Иоанн. — Беда в том, что мы не знаем, что строим.

— Церковь, — сказал дьяк.

— Церковь — снаружи. А внутри?

Дьяк посмотрел на свод. С потолка капало. Капля падала в лужу ровно, как маятник.

— Внутри — слух, — сказал он. — Место, где слышно.

— Кого?

— Всех.

Савва поднял голову. У него было лицо человека, который давно не спал и привык к этому.

— Я видел его, — сказал он. — В прошлом году, в Чудове. Он стоял в алтаре, за престолом. Не лицом. Тенью. И я услышал: «Я не сужу. Я помню».

— Это бес, — сказал дьяк.

— Бес не помнит, — сказал Савва. — Бес знает. Это разное.

Иоанн положил на стол лист бумаги. Бумага была дорогая, немецкая, с водяным знаком — голова быка. Он разгладил её ладонью.

— Мы напишем грамоту, — сказал он. — Не для Бога. Бог в грамотах не нуждается. Для людей. Чтобы знали: сюда можно войти с тем, что не можешь нести. И выйти с тем, что сможешь.

— А если не сможет? — спросила Устинья.

— Тогда останется.

— Навсегда?

— Пока не научится.

Дьяк взял перо. Иоанн начал диктовать. Он говорил медленно, как читают по слогам:

— «Аще кто в притвор ввидет с прошением или исповедию, да не изыдет, дондеже слово не изречет...»

— «...дондеже слово не изречет», — повторил дьяк.

— «А кто слово нарушит, тот имени лишится, и дверь его не помнит».

Устинья перестала шить.

— Имени лишится, — сказала она. — Это как?

— Это как Кузьма, — сказал Савва.

Все посмотрели на него.

— Кто такой Кузьма? — спросил дьяк.

Савва помолчал.

— Не знаю, — сказал он. — Я думал, вы знаете.

В подклете стало тихо. Капля упала в лужу. Потом ещё раз.

— Вот, — сказал Иоанн. — Вот так это и бывает.

Он взял у дьяка перо и дописал внизу: «Лета 7174, октября в 14 день». Поставил печать. Печать была медная, с тремя лицами, и в ней не хватало одного угла.

— Теперь икона, — сказал он.

Савва принёс доску. Липа, ковчег, левкас. Он работал над ней три года. На доске были Спаситель и два ангела. Внизу

оставалось пустое место.

— Кто четвёртый? — спросил Иоанн.

— Я, — сказал Савва.

— Ты не святой.

— Я и не пишу себя святым. Я пишу себя свидетелем.

Он взял кисть. Устинья поднесла ему лампу. Савва провёл линию — плечо, руку, сложенные на груди пальцы. Потом остановился.

— Лицо? — спросил дьяк.

— Не сегодня.

— Почему?

— Потому что себя не пишут по памяти. Себя пишут с зеркала. А зеркала нет.

— Есть, — сказала Устинья. — У боярыни. Я могу принести.

Савва посмотрел на неё. Впервые за вечер он улыбнулся.

— Не надо, — сказал он. — Я боюсь.

— Чего?

— Того, что увижу.

Он положил кисть. Иоанн посмотрел на пустое место, потом на грамоту, потом на человека в углу.

— А он? — спросил Иоанн. — Что он будет делать?

Человек в капюшоне поднял голову. Лица не было видно. Только голос, ровный, как капля в лужу.

— Я буду помнить, — сказал он. — Пока есть лицо.

— А если лица не будет?

— Тогда я начну вспоминать всё.

Иоанн закрыл глаза. Потом сказал:

— Тогда мы будем держать лицо.

Так появился первый устав. В нём было двенадцать статей. Первая звучала так: «Часовой не верит в икону, которую держит. Он держит её потому, что не верит». Вторая: «Постов двенадцать. Якорей пять. Не путайте». Третья: «Не дай Ему проснуться. Не дай Ему умереть».

Савва не дописал себя. Он оставил пустое место внизу доски — ровный светлый левкас, как окно, в которое никто не смотрит.

Устинья вшила в край оклада золотую нить. Она шила всю ночь, и к утру на серебре остался шов, тонкий, как трещина.

— Зачем? — спросил дьяк.

— Чтобы держалось, — сказала она.

— Что?

— Лицо.

Савва умер через год. Его похоронили за оградой, потому что он просил не класть его в церкви. На камне не написали имени. Только две строки:

«Он видел лицо. Он не дописал себя».

Через триста шестьдесят лет в том же подклете девушка с синими концами волос будет держать лампу и смотреть на пустое место. Она не будет знать, что искать. Но она увидит.

Пока мы помним лицо, он спит.

Глава 1. Кровь и охра

«Красный пигмент на трещине. Проба взята в 18:40. На воздухе темнеет. В воде не растворяется. Пахнет ладаном и железом». Из рабочей тетради

Я не верю в Бога. Я верю в порядок.

Порядок выглядит так: дерево, левкас, краска, лак. Если дерево поведёт, левкас треснет. Если левкас треснет, краска осыплется. Если краска осыплется, лак перестанет держать. Это не мистика. Это физика, только медленная.

В левом приделе храма Трёх Свидетелей было плюс шесть. Я сидела на низком стуле, в пуховике, в перчатках без пальцев, и смотрела на икону. Икона стояла на аналое, накрытая стеклом. Под стеклом, у левого глаза Спаса, висела капля.

Красная.

Я знала эту каплю. В декабре она уже была. Потом высохла, стала тёмной, как лак, и я решила, что процесс остановлен. Я даже написала в отчёте: «признаков активного выделения не наблюдается». Отчёт был честный. Я тогда ещё верила, что иконы не плачут.

Капля была свежая. Она блестела.

Я открыла стекло. Четыре латунные защёлки, простые, старые, сработанные в те времена, когда вещи делали на сто

лет. Стекло поднялось с сухим щелчком. Я поднесла к капле микропробирку и сняла её ватным тампоном.

Тампон стал красным. Капля была тёплая. В храме было плюс шесть.

— Ну и? — спросил Алексей.

Он стоял в двух шагах, в чёрном свитере, с кружкой чая. Очки у него были с треснувшим левым стеклом. Он не менял его уже год. Пар от чая шёл вверх и растворялся в темноте под сводом. У него было лицо человека, который давно перестал удивляться, но ещё не перестал спрашивать.

— Это не кровь, — сказала я.

— Ты уверена?

— Я сдала анализ в декабре. Гемоглобин есть. Эритроцитов нет. Мирра есть. Но не совсем мирра. И белок. И что-то ещё, чего в моей таблице нет.

— Что это значит?

— Это значит, что кто-то сделал эмульсию. Очень хорошую. — Я закрыла пробирку. — Кровь — единственный пигмент, который все узнают. Даже те, кто никогда не держал кисть.

— Ты думаешь, это подделка?

— Я думаю, это сообщение.

Алексей посмотрел на икону. На четвертую фигуру внизу. На пустое место, где должно было быть лицо.

— От кого?

— Если бы я знала, я бы не сидела в пальто в шестом часу

вечера.

Он ушёл наверх, к себе. Я осталась.

* * *

Икона была старая. Семнадцатый век, липа, ковчег, лузга, паволока, левкас. Краска — яичная темпера. Я знала её наизусть, как знают лицо человека, с которым живёшь. Спаситель смотрел прямо. Два ангела держали плат. Внизу, у ног, стоял четвёртый — в коричневом, с руками, сложенными на груди, без лица.

Я не смотрела на него. Я смотрела на трещины.

Трещины шли от нимба вниз, к нижнему полю. Одна, вторая, третья, четвёртая. Они были старые, но живые: края светлые, левкас по краям осыпался, значит, доска работала. Я сфотографировала их в косопадающем свете, перенесла на кальку, отсканировала и наложила на карту.

Это была не карта. Это была схема.

Радиальные линии расходились от центра, как спицы. Кольцо пересекало их на середине. Я наложила схему на метро. Кольцевая не совпала. Радиальные почти совпали: Пятницкая, Ордынка, Полянка, Никольская. Центр не совпал совсем. В метро центр был на Охотном Ряду. На иконе центр был южнее, в Зарядье, между Варваркой и рекой.

Я наложила схему на карту Москвы семнадцатого века. Совпало всё.

Это была не схема метро. Это была схема города до метро. И центр у неё был не там, где стоял Кремль. Центр был под

Зарядьем.

Я сидела над калёйкой и слушала, как в трубах шумит вода. Потом позвонила в лабораторию.

— Марк Ильич, — сказала я. — Это опять я.

— Я так и понял, — сказал он. — У тебя голос человека, который нашёл трещину в собственной теории.

Марк Ильич работал в подвале на Ордынке, в комнате без окон, среди колб, спектрометров и старых журналов. У него была борода, похожая на сапожную щётку, и привычка говорить с приборами, как с детьми.

— Что у тебя?

— Красная жидкость. Из иконы.

— Опять?

— Опять.

— Ты понимаешь, что я не могу писать в заключении «из иконы»?

— Напиши «из образца».

— Спасибо. Ты меня спасла от научной карьеры.

Он взял пробирку. Я смотрела, как он капает реактив в маленькую чашку. Жидкость стала бурой.

— Гемоглобин, — сказал он. — Но не кровь. Тут нет клеток. Тут вообще нет ничего, что должно быть в крови. Просто белок, который ведёт себя как гемоглобин.

— А мирра?

— Смола. Но не мирра. Похожа. — Он понюхал. — Ладан. И ещё что-то. Масло? Нет. Что-то холодное.

— Холодное?

— Не знаю, как сказать. — Он потёр нос. — Запах как у снега, если его растопить в металлической кружке.

Я посмотрела на пробирку.

— Марк Ильич, а если это не подделка?

Он поднял брови.

— Ты хочешь, чтобы я сказал, что икона плачет?

— Я хочу, чтобы ты сказал, что это такое.

— Это эмульсия, — сказал он. — Хорошая. Кто-то знал, что делает. Но зачем?

— Чтобы я поверила.

— Ты не веришь.

— Я уже здесь.

Он засмеялся. Потом перестал.

— Ника.

— Да?

— Если это не подделка, то у неё нет источника. — Он показал на пробирку. — Жидкость не может появляться из дерева. Она может конденсироваться, просачиваться, выделяться из лака. Но не в таком объёме. И не такого состава.

— Значит, подделка.

— Значит, — сказал он, — кто-то очень хочет, чтобы ты так думала.

* * *

В лаборатории пахло растворителем и кофе. Марк Ильич налил мне чай в колбу Эрленмейера, потому что кружки у

него закончились, а мыть их он считал бюрократией. Я держала колбу обеими руками. Стекло было тёплое.

— Ты знаешь, что такое охра? — спросил он.

— Природный пигмент. Гидрат окиси железа.

— А свинцовый сурик?

— Красный. Применялся в семнадцатом веке. Яркий, но тяжёлый. Со временем темнеет.

— Умница. — Он сел напротив. — А теперь скажи мне, зачем в семнадцатом веке иконописец добавлял в сурик немного бакана? Не для цвета. Для чего?

— Для плотности.

— Для чего ещё?

Я подумала.

— Чтобы краска не потрескалась? Нет. Чтобы лежала ровнее. Чтобы держала свет.

— Чтобы держала свет, — повторил он. — Вот именно. Икона — это не картина. Картина изображает свет. Икона его держит. Разница, как между окном и лампой.

— Ты говоришь, как Лев Аркадьевич.

— Мы учились у одного человека. — Он отхлебнул из колбы. — Только он пошёл в храм, а я в лабораторию. Оба чиним одно и то же.

— Что?

— То, что люди не могут удержать руками.

Он посмотрел на пробирку.

— Ника, если это не подделка, то у неё нет источника.

— Он сказал это уже второй раз, но теперь медленнее. — А если у неё нет источника, то у неё есть адрес.

— Какой адрес?

— Тот, откуда приходят вещи без источника. — Он пожал плечами. — Я учёный. Я не знаю таких адресов. Но я знаю, что они есть.

Я допила чай. Он был слишком крепкий и пах металлом.

— Спасибо, Марк Ильич.

— Не благодари. — Он взял пробирку. — И не приноси мне больше красного. Я начинаю думать.

* * *

В больнице пахло хлоргексидином и печёными яблоками. Мама лежала у окна, на шестой койке, и смотрела на иней. Она была худая. Я всегда думала, что она худая от работы, от скипидара, от привычки есть стоя. Теперь я знала, что она худая от того, что отдавала себя по частям.

— Мама.

Она повернула голову. Глаза у неё были серые, как мартовский лёд, и в них не было узнавания.

— Ты не Ника, — сказала она. — Ника маленькая.

— Мама, это я.

— Ника маленькая, — повторила она. — У неё руки в синем.

Я села на стул. В палате работал телевизор без звука. По экрану шли люди в пальто, показывали графики, потом рекламу чая.

— Скажи Льву, — сказала мама.

— Что сказать?

— Что я не успела.

— Что не успела?

Она помолчала. Потом сказала:

— Стекло.

— Какое стекло?

— Он смотрит.

Я достала телефон и показала ей фотографию иконы. Она отвернулась так резко, что задела катетер.

— Убери.

— Мама.

— Убери, — сказала она. — Он смотрит.

Я убрала телефон. Мы сидели молча. За окном шёл снег, крупный, медленный, и больничный двор становился похож на непроявленную фотографию.

— Ты ела? — спросила она вдруг.

— Ела.

— Врёшь.

— Не вру.

— У тебя голос невиноватый.

Я засмеялась. Она не засмеялась. Она смотрела на меня и, кажется, пыталась вспомнить, кто я. Потом сказала:

— У тебя мамина рука.

— Я и есть твоя дочь.

— Да, — сказала она. — Наверное.

Я взяла её руку. Пальцы были сухие и лёгкие, как бумага. На указательном — маленький белый шрам от скальпеля. Я знала этот шрам с детства. Он был единственной приметой, по которой я всегда узнавала мать, даже когда она стояла спиной.

— Мама, — сказала я. — Кто такой Лев?

Она посмотрела на меня. В её глазах что-то шевельнулось, как рыба подо льдом.

— Лев, — сказала она. — Он приносит леденцы.

— Ещё что?

— Он боится, что я умру первой. — Она улыбнулась. — Я всегда говорила, что умру первой. Он не верил.

— Почему?

— Потому что он старше.

Она закрыла глаза. Я сидела ещё полчаса. За это время она сказала ещё три фразы: «Закрой окно», «Снег идёт» и «Ты не Ника». Потом уснула.

Я вышла на улицу. Мороз был сухой, злой, и снег скрипел под ногами, как крахмал. Я шла к метро и думала о том, что мать всегда любила икону больше меня. Потом я подумала: а если нет? Если она любила меня так, как умела, — работой, руками, шрамом на пальце? Эта мысль была хуже первой. С первой можно было жить. Со второй нужно было что-то делать.

* * *

В храм я вернулась в темноте. Алексей оставил мне ключ

от боковой двери. Я прошла через притвор, мимо свечного ящика, мимо иконы Трёх Свидетелей. На иконе было четыре фигуры. Три с лицами. Четвёртая — без.

В храме было тихо. Кот Ересь спал на подоконнике, свернувшись так, что не было видно ни головы, ни хвоста. Один глаз у него был зелёный, другой жёлтый, и оба были закрыты. Я подошла к Спасу. Стекло было на месте. Капля высохла. Я включила лампу и посмотрела на стекло сбоку.



Икона в левом приделе: трещины складываются в схему города

С внутренней стороны, у самого края, был отпечаток. Большой палец. Чёткий, жирный, как будто человек прижал руку к стеклу изнутри и подержал.

У ногтя была маленькая белая полоска. Шрам.

Я знала этот шрам. Я двадцать шесть лет видела его на маминой руке. Она порезалась скальпелем, когда я была маленькой, и не пошла в больницу. Заклеила пластырем и продолжила работать.

Я проверила защёлки. Все четыре были закрыты. Я сама их закрывала утром. Отпечатка тогда не было.

Я стояла в пустом храме и смотрела на стекло. Потом достала телефон и позвонила Алексею.

— Батюшка, — сказала я. — Кажется, у нас гости.

Глава 2. Устав Часовни

«Часовой не верит в икону, которую держит. Он держит её потому, что не верит». Устав Часовни, статья первая

Лев Аркадьевич Гринберг пришёл в храм в среду, в половине десятого, с жестянкой леденцов и запахом кофе. Ему было шестьдесят семь. Он был высокий, сутулый, в белом халате поверх свитера, с тростью, у которой набалдашник был из латуни, отполированной до блеска.

— Деточка, — сказал он. — Ты выглядишь как человек, который всю ночь искал трещину и нашёл себя.

— Доброе утро, Лев Аркадьевич.

— Доброе, доброе. — Он поставил жестянку на свечной ящик. — Леденцы. Мятные. Для мыслей.

Он подошёл к иконе. Долго смотрел. Потом достал из кармана лупу и наклонился к золотой нити, вшитой в край оклада.

— Жива, — сказал он.

— Кто?

— Нить. — Он выпрямился. — Её вшили в тридцать третьем. Я думал, она сгнила.

— Вы знали?

— Я знал, что она есть. Я не знал, что она держит.

Он сел на скамью и похлопал рядом.

— Садись. Разговор будет длинный, а ноги у меня короткие.

Я села. Он достал леденец, развернул, положил в рот и сказал:

— Покажи карту.

Я показала. Он смотрел на кальку, наложил её на карту Москвы, которую я принесла, потом на схему метро. Потом откинулся на спинку.

— Значит, ты уже видишь, — сказал он.

— Что я вижу?

— Что икона — не картина. — Он постучал пальцем по кальке. — Это чертёж. Трещины — не повреждения. Это линии. Они появляются там, где конструкция работает. Если ты умеешь читать, ты видишь, где она держит и где уже нет.

— И где она не держит?

— Внизу. — Он показал на нижнее поле. — Там, где четвёртый.

— Там пусто.

— Вот именно.

Он достал из кармана очки, протёр их о свитер и надел. Очки были толстые, в тяжёлой оправе, и в них его глаза становились больше, чем были.

— Ты знаешь, сколько лет я реставрирую?

— Нет.

— Сорок два. Я пришёл в мастерскую в двадцать четыре,

с дипломом художника и руками, которые ничего не умели. Меня взял старик по фамилии Слепцов. Пётр Афанасьевич. Он был твой прадед.

Я посмотрела на него.

— Мой прадед?

— Твой прадед. — Он кивнул. — Он вынес эту икону из Спаса на Бору в тридцать третьем. Он не любил об этом говорить. Говорил: «Я нёс доски». Но он нёс не доски.

— Почему вы мне это рассказываете?

— Потому что ты уже в списке. — Он достал леденец, но не развернул. — И потому что я старый. Мне нужно кому-то передать то, что я знаю. Иначе я умру, и всё это станет музейным фондом.

— Что станет?

— Устав. Посты. Имена. — Он посмотрел на икону. — Всё, что мы держим.

* * *

В музее, в подвале, за дверью с кодовым замком, была комната. Там стояли стеллажи, на стеллажах — коробки, в коробках — плёнка, в плёнке — иконы.

Лев включил свет. Лампы были длинные, больничные, и в их свете стены казались белыми, а иконы — чёрными.

— Смотри, — сказал он.

На стене висели двенадцать икон. Маленькие, в стеклянных футлярах, каждая с табличкой. Я подошла.

На табличках были улицы: Никольская, Ордынка, Полян-

ка, Пречистенка, Тверская, Арбат. Шесть постов, шесть хранителей, шесть чужих имён.

Седьмой футляр был пуст. На табличке стояло: «Пост седьмой. Спас Нерукотворный. Хранитель — В. А. Слепцова».

Я смотрела на седьмой.

— Это мамин, — сказала я.

— Это твой, — сказал Лев.

— Мама жива.

— Мама больше не может держать. — Он сказал это без жестокости, просто как факт. — Она отдала всё, что у неё было. Ты видела анализ. Икона плачет, потому что её некому помнить.

— Я не понимаю.

— Сядь.

Я села на табурет. Лев достал из кармана тонкую книжку в коленкоровой обложке, потрёпанную, с загнутыми углами. На обложке было напечатано: «Устав часового. Издание четвёртое. 1964».

— Читай, — сказал он. — Первую статью.

Я открыла. Бумага была жёлтая, шрифт — старый, с засечками.

«1. Часовой не верит в икону, которую держит. Он держит её потому, что не верит».

— Это парадокс, — сказала я.

— Это техника безопасности. — Лев забрал книжку. —

Если ты веришь, ты начинаешь молиться. Если молишься, начинаешь просить. Если просишь, начинаешь торговаться. А торговаться с ним нельзя.

— С кем?

— С тем, кто помнит.

— Двенадцать постов. Двенадцать икон. Каждая держит свой слой города. Седьмой — в середине. Он держит остальные. Спас на Бору — не просто икона. Это замок замков. Если он откроется, остальные не удержат.

— Что откроется?

— Дверь.

— Какая дверь?

— Та, которую мы не открываем. — Он посмотрел на меня. — Ты думаешь, что икона — это тюрьма? Вера тебе так говорила?

— Она говорила, что икона — замок.

— Замок — да. Но не тюрьма. — Он покачал головой. — Икона — это портрет. Первый часовой написал лицо, которое Свидетель помнит. Свидетель не в доске. Он смотрит на неё. Пока есть лицо, он помнит не всё. Он помнит одно лицо. Это его держит.

— Кто такой Свидетель?

— Не знаю. — Лев сказал это спокойно. — Я знаю, что он не судит. Он помнит. И что его память невыносима. Если он вспомнит всё, город сгорит.

— В переносном смысле?

— В самом прямом.

Я посмотрела на двенадцать икон. На пустой седьмой футляр.

— Почему вы мне это рассказываете?

— Потому что ты уже видишь. — Он взял леденец. — И потому что орден требует, чтобы ты заняла место матери.

— Я не верю в Бога.

— Никто из нас не верит. — Он развернул леденец. — Это не клуб. Это смена. Мы не молимся. Мы содержим.

— Я не хочу.

— Никто не хочет. — Он положил леденец в рот. — Вера не хотела. Я не хотел. Но кто-то должен сидеть в шестом часу вечера в пальто и смотреть на каплю.

* * *

Он повёл меня вдоль стеллажей. У каждого футляра останавливался, называл пост и хранителя. Я запоминала, потому что у меня не было выбора: я запоминаю всё, что вижу, даже когда не хочу.

— Пост первый. Никольская. Никола Можайский. Хранитель — Пётр Ильич Вяземский. Бывший учитель истории. Семьдесят четыре. Он говорит цитатами, но это не мешает.

— Пост второй. Ордынка. Богоматерь Троеручица. Хранитель — Гурий Афанасьевич Сомов. Семьдесят девять. Глухой. Он слышит только то, что написано.

— Пост третий. Полянка. Знамение. Хранитель — Марьяна Густавовна. Она ведёт бумаги. Ты её увидишь. Она не

любит, когда трогают стекло.

— Пост четвёртый. Пречистенка. Утоли моя печали. Хранитель — Антонина Павловна Крицкая. Восемьдесят четыре. Она реставрировала эту икону в семьдесят втором. Она была лучшая. Потом перестала.

— Почему?

— Спроси у неё.

— Пост пятый. Тверская. Спас Ярое Око. Хранитель — Илья Матвеевич. Он не приходит на соборы. У него нога.

— Пост шестой. Арбат. Неопалимая Купина. Хранитель — Роза Марковна.

— Ведьма?

— Она предпочитает слово «практикующая». — Лев усмехнулся. — Она держит пост лучше, чем некоторые священники.

— Пост седьмой. Спас Нерукотворный. Твой.

— Пост восьмой. Якиманка. Скоропослушница. Хранитель — Вера Аркадьевна. Пока.

— Мама?

— Она держала седьмой. Восьмой держит её ученица. Но ученица уехала в Тверь. Пока пост пуст.

— Пост девятый. Зацепа. Взыскание погибших. Хранитель — отец Паисий. Он не знает, что он хранитель. Он думает, что просто ведёт сайт.

— Пост десятый. Балчуг. Тихвинская. Хранитель — Агафья Петровна. Она говорит, что просто убирается. Она уби-

рается сорок лет.

— Пост одиннадцатый. Варварка. Владимирская. Хранитель — Генрих Львович. Он считает, что это медицинская ошибка.

— Пост двенадцатый. Зарядье. Троица. Хранитель — Гурий Афанасьевич. Он же второй. Он глухой, но у него две иконы. Это разрешено.

— Почему?

— Потому что они близко. — Лев остановился. — Двенадцать постов. Не все хранители приходят. Не все знают друг друга. Но все знают устав.

— И вы?

— Я — смотритель. Я не держу пост. Я держу музей. — Он посмотрел на меня. — Кто-то должен хранить ключи.

Он достал из кармана латунный ключ. Не тот, что был у меня. Этот был меньше, с бородкой в форме креста.

— Это от седьмого футляра. — Он вложил его мне в руку. — Пока не открывай. Сначала собор.

— Какой собор?

— Завтра. В мастерской. — Он взял трость. — Соберутся старики. Они будут смотреть на тебя и решать, годишься ли ты. Не спорь с ними. Они пережили больше, чем ты прочитала.

— А если я не приду?

— Придёшь. — Он пошёл к двери. — Потому что тебе уже снится лицо.

Я хотела спросить, откуда он знает. Но он уже вышел. В коридоре было темно, и его трость стучала по полу, как метроном.

Я осталась среди двенадцати икон. Седьмой футляр был пуст. На табличке стояло мамино имя. Я провела пальцем по стеклу. Оно было тёплое.

— Я не хочу, — сказала я вслух.

В комнате никого не было. Но мне показалось, что кто-то за стеллажом тихо, очень тихо вздохнул.

* * *

Вечером я пришла в мастерскую Льва на Ордынке. Он жил в двух комнатах за реставрационной мастерской: стеллажи с банками, стол с лампой, продавленное кресло, радиоприёмник, который всегда играл джаз. На стене висела маленькая икона — не музейная, домашняя, с облупившейся краской. Перед ней не было лампы.

— Садись, — сказал он. — Будешь чай.

— Я не голодна.

— Я не спрашивал.

Он налил чай в две чашки, поставил на стол жестянку с леденцами, сел в кресло и вытянул ноги.

— Завтра собор, — сказал он. — Тебе не понравится.

— Почему?

— Потому что старики будут говорить о тебе в третьем лице. Как о мебели. Они не злые. Они просто старые.

— А вы?

— Я буду говорить во втором. — Он отхлебнул чай. — Это всё, что я могу.

— Лев Аркадьевич.

— Да.

— Вы были часовым?

Он помолчал.

— Был. Двадцать лет. Потом перестал.

— Почему?

— Потому что я не выдержал. — Он сказал это без пафоса. — У меня был пост на Пятницкой. Маленькая икона, Николай Угодник. Я держал её двадцать лет. Потом она начала мне сниться. Не лицо. Трещины. Я видел во сне, как они идут. Я просыпался и шёл в мастерскую проверять. В конце концов я перестал спать.

— И что вы сделали?

— Передал пост. — Он пожал плечами. — Это разрешено. Если чувствуешь, что не выдержишь, передай. Лучше живой смотритель, чем мёртвый часовой.

— А если некому передать?

— Тогда держишь. — Он посмотрел на меня. — Пока не найдётся тот, кто сможет.

— Это жестоко.

— Это работа. — Он поставил чашку. — Ты думаешь, что мы спасаем мир? Мы не спасаем. Мы не даём ему проснуться. Это разные вещи.

— А в чём разница?

— В том, что мир не хочет просыпаться. — Он улыбнулся.
— Как человек, который спит и знает, что ему снится плохое, но всё равно не встаёт, потому что во сне теплее.

Я посмотрела на маленькую икону на стене. Николай Угодник смотрел в сторону, строго и устало.

— Вы верите в Бога? — спросила я.

Он подумал.

— Я верю в краску, — сказал он. — В грунт. В то, что если правильно укрепить левкас, икона будет стоять ещё двести лет. Этого достаточно.

— А если нет?

— Тогда я зря прожил жизнь. — Он улыбнулся. — Но я не зря прожил жизнь.

Он проводил меня до двери. На улице было минус восемнадцать, и снег скрипел под ногами, как крахмал.

— Лев Аркадьевич.

— Да?

— Почему вы не уехали? В Израиль, в Германию, куда угодно?

Он посмотрел на меня так, как смотрят на человека, который спросил, почему он не бросил ребёнка.

— Потому что здесь лица, — сказал он. — А там — стены.

Он закрыл дверь. Я пошла к метро. У «Третьяковской» купила пирожок с капустой, обожгла язык и подумала, что завтра всё будет ясно.

У турникета я обернулась. На другой стороне улицы стоял

человек в сером пальто. Он не смотрел на меня. Он смотрел на витрину, в которой отражалась я.

Я вошла в метро. Он не пошёл за мной.

Тогда я решила, что мне показалось. Это была вторая ошибка за неделю.

Глава 3. Собор

«Постов двенадцать. Якорей пять. Не путайте». Устав Часовни, статья вторая

Собор собрался в мастерской Льва, за длинным столом, на котором обычно лежали иконы, а теперь стояли самовар, сушки и три банки с растворителем. Пахло чаем, скипидаром и старой шерстью.

Их было пятеро, не считая меня и Льва.

Антонина Павловна Крицкая сидела во главе стола, потому что была старше всех. Восемьдесят четыре года, сухая, прямая, в сером платье с брошью-камеей. Левый глаз у неё был белый, как варёный белок, и она носила на этой стороне очков матовое стёклышко. Правым она видела лучше, чем я обоими.

Гурий Афанасьевич Сомов сидел рядом, огромный, в клетчатой рубаше, с руками, которые не помещались на столе. Ему было семьдесят девять. Он был глухой и говорил так, будто командовал пожарной командой.

Пётр Ильич Вяземский, бывший учитель истории, сидел напротив, в пиджаке с кожаными заплатками на локтях, и вертел в пальцах очки. Он любил цитаты и не скрывал этого.

Марьяна Густавовна, секретарь ордена, сидела с краю, с папкой и печатью. Ей было семьдесят. Она приехала на трам-

вае, в шерстяном пальто, и от неё пахло нафталином и бумагой.

Пятым был Лев. Он стоял у самовара, как хозяин, и разливал чай.

— Садись, — сказал он мне. — Это Ника. Вероника Аркадьевна. Дочь Веры.

— Мы знаем, — сказала Антонина Павловна. — Она похожа на мать. Только злее.

— Спасибо, — сказала я.

— Это комплимент. — Антонина Павловна посмотрела на меня своим живым глазом. — Вера была слишком мягкая. Её все садили на шею. Ты не дашь.

— Я не уверена.

— Уверена. — Она отхлебнула чай. — Иначе бы не пришла.

Марьяна Густавовна открыла папку.

— Собор Часовни. Двенадцатый пост, седьмой круг. Присутствуют: Крицкая, Сомов, Вяземский, Гринберг, Слепцова. Отсутствуют: Ветрова, Ковалёв, Тихонов, Одинцов. Кворум есть.

— Почему вы перечисляете фамилии, которых здесь нет? — спросила я.

— Потому что они есть, — сказала Марьяна Густавовна. — Даже если не пришли.

Она достала латунный жетон и положила перед собой. На жетоне был номер семь.

— Это твой, — сказала она. — Пока не подписан.

Я не взяла жетон.

— Я ещё не согласилась.

— Поэтому он и не подписан.

Лев сел. Собор начался.

* * *

— Вероника Аркадьевна, — сказал Пётр Ильич. — Что вы видите, когда смотрите на икону?

— Дерево. Левкас. Темпера. Четыре слоя записи. Трещины.

— Это видит любой реставратор.

— Я не любой.

— Хорошо. — Он чуть улыбнулся. — Что вы видите ещё?

Я подумала. В мастерской было тихо. Самовар шипел. Где-то за стеной капала вода.

— Я вижу, где живопись держит, — сказала я. — И где уже нет.

— Где нет?

— Внизу. У четвёртого.

— Почему?

— Потому что там стёрт левкас. Не замазан. Стёрт. Кто-то снял верхний слой и остановился.

— Кто?

— Не знаю.

— А что вы видите на месте лица?

Я посмотрела на Льва. Он не помогал.

— Пустое место, — сказала я.

Антонина Павловна покачала головой.

— Нет, милая, — сказала она. — Там лицо, которое стёрли. Это разное. Пустое место — это когда ничего не было. А там было. И его убрали.

— Какая разница?

— Большая. — Она подняла живой глаз. — Пустое место можно заполнить чем угодно. Стёртое — только тем, что было.

— Вы знаете, что там было?

— Я знаю, что там было в семьдесят втором. — Она сказала это ровно. — Я это закрасила.

В мастерской стало тише. Гурий Афанасьевич перестал размешивать чай.

— Антонина Павловна, — сказал Лев. — Мы не об этом.

— Мы именно об этом. — Она не смотрела на него. — Девочка должна знать, во что входит.

— Я не девочка.

— Все мы девочки, — сказала она. — До определённого возраста. Потом становимся старухами. Это не улучшение.

Она достала из кармана платок и вытерла угол рта.

— В семьдесят втором я реставрировала эту икону. Мне было тридцать. Я была лучшая в мастерской. Лев был молодой, глупый, подавал мне кисти. — Она усмехнулась. — Он до сих пор думает, что это он меня научил.

— Я не думаю, — сказал Лев.

— Думаешь. — Она повернулась ко мне. — Я сняла поздние записи. Дошла до четвёртого. И увидела лицо. Оно было недописано. Глаза, бровь, линия рта. Но оно смотрело.

— Как это — смотрело?

— Обыкновенно. — Она пожала плечами. — Ты стоишь с кистью, а оно смотрит. Как человек, который ждёт, когда ты отвернёшься.

— И что вы сделали?

— Я его закрасила. — Она сказала это без паузы. — Я думала, что помогаю. Что если лицо недописано, его надо укрепить, записать, чтобы не осыпалось. Я взяла левкас, нанесла, просушила, положила слой охра. Хороший слой. Профессиональный.

— И?

— И оно перестало смотреть. — Она помолчала. — На десять лет. Потом начало плакать.

— Кровью?

— Нет. Тогда — нет. Тогда просто появилась влага. Как конденсат. Мы списали на климат. Потом влага стала красной. Потом икона ушла в запасник. Потом Вера взяла её. — Антонина Павловна посмотрела на меня. — А теперь ты стоишь здесь.

Я не знала, что сказать. В мастерской было слышно, как в трубе шумит вода.

— Почему вы мне это рассказываете?

— Чтобы ты не сделала то же самое. — Она аккуратно

сложила платок. — Когда ты дойдёшь до лица, тебе захочется его дописать. Правильно, красиво, как надо. Не смей.

— А если я не смогу?

— Тогда не берись.

* * *

— Достаточно, — сказал Пётр Ильич. — Мы собрались не для исповеди. Мы собрались для решения.

— Для какого решения? — спросила я.

Он достал из папки лист.

— Это письмо из Канцелярии. Пришло вчера. «В связи с нестабильностью седьмого поста и невозможностью его содержания силами действующего хранителя предлагается перезапись якоря на кандидата Ветрова Кирилла, девять лет. Кандидат обладает способностью видеть истинные лица. Перезапись согласована с матерью кандидата».

— Согласована? — сказала я. — Мама ничего не подписывала.

— Подпись есть, — сказал Пётр Ильич. — Мы проверяли. Она похожа.

— Она подделана.

— Это не наша юрисдикция.

— Это ваша икона!

— Это наша ответственность, — сказал он. — Икона — не собственность. Это пост.

Гурий Афанасьевич ударил ладонью по столу. Чай выплеснулся.

— РЕБЁНОК НЕ СОСУД! — сказал он.

— Гурий Афанасьевич, — сказала Марьяна Густавовна.

— Тише.

— Я НЕ УМЕЮ ТИШЕ! — Он посмотрел на меня. — ДЕВОЧКА, ТЫ ЕГО ВИДЕЛА? МАЛЬЧИКА?

— Видела, — сказала я. — На фотографии.

— ФОТОГРАФИЯ — НЕ ЧЕЛОВЕК. — Он ткнул пальцем в стол. — РЕБЁНОК ВИДИТ. ЭТО ПРАВДА. НО РЕБЁНОК НЕ ДЕРЖИТ. ОН СМОТРИТ. А ДЕРЖАТЬ НАДО РУКАМИ.

— Гурий прав, — сказал Пётр Ильич. — По уставу якорь — человек, который помнит лицо. Не возраст. Но и не ребёнок. Ребёнок помнит лицо, потому что не знает, что с ним делать. Это не якорь. Это окно.

— Окно тоже держит, — сказала Антонина Павловна.

— Окно держит свет. Не дом.

— Дом держится на окнах.

— Не надо метафор, — сказал Лев. — Мы не в школе.

— А что ты предлагаешь? — спросила Антонина Павловна. — Ты сам сказал: Вера больше не может. Седьмой пост пуст. Икона плачет. Через месяц она начнёт трескаться. Через два — рассыплется. Тогда мы все будем держать то, что от неё останется.

— Мы найдём взрослого.

— Кого? — Она обвела рукой стол. — Меня? Мне восемьдесят четыре. Петра? У него сердце. Гурия? Он глухой.

Марьяну? Она секретарь, а не часовой. Тебя? Ты сам отказался двадцать лет назад.

Лев молчал.

— Вот, — сказала Антонина Павловна. — Вот и всё.

— Есть девочка, — сказал Пётр Ильич. — Она здесь.

Все посмотрели на меня.

— Она не согласна, — сказал Лев.

— Она ещё не сказала.

— Она сказала.

— Это не считается. — Пётр Ильич посмотрел на меня. —

Вероника Аркадьевна, вы понимаете, что произойдёт, если вы откажетесь?

— Икона умрёт.

— Город начнёт вспоминать. — Он сказал это без нажима. — Не сразу. Сначала забудут имена улиц. Потом имена людей. Потом то, что было до. Потом то, что было вчера. Это не конец света. Это хуже. Это жизнь без прошлого.

— Вы говорите, как Феофан.

— Феофан говорит то же самое, но хочет другого. — Пётр Ильич надел очки. — Он хочет управлять памятью. Мы хотим, чтобы она была.

— И для этого вы готовы отдать ребёнка?

— Мы не готовы. — Он помолчал. — Мы обсуждаем.

— Обсуждаете? — Я встала. — Ему девять лет. Он рисует ангелов с табличками. Он не знает, что такое якорь. Он не знает, что такое смерть. Вы хотите посадить его в тёмную

комнату и сказать: «Держи лицо, мальчик. Пока не рассып-
лешься».

— Никто не говорит о комнате, — сказала Марьяна Гу-
ставовна.

— А что вы говорите?

— Мы говорим о посте. О наблюдении. О защите.

— Это одно и то же.

— Нет, — сказала Антонина Павловна. — Это не одно и
то же. Но и не разное.

* * *

Мы спорили ещё час. Я не запомнила всех слов. Я запом-
нила лица.

Пётр Ильич говорил о пропорции: один ребёнок против
города. Он не был злым. Он был учителем, который всю
жизнь объяснял, что история важнее отдельного человека, и
теперь ему было стыдно, что он сам в это не верит.

Гурий Афанасьевич кричал, что ребёнок не сосуд, и сту-
чал по столу так, что чашки подпрыгивали. Потом он замол-
чал, достал блокнот и написал крупно: «Я НЕ СЛЫШУ ВАС.
НО Я ВИЖУ, ЧТО ВЫ БОИТЕСЬ. ЭТО ХОРОШО. БОЙ-
ТЕСЬ ДАЛЬШЕ».

Марьяна Густавовна записывала. Она записывала всё, да-
же то, что не относилось к делу. В её протоколе было: «Грин-
берг Л. А. — против. Крицкая А. П. — воздержалась. Сомов
Г. А. — против. Вяземский П. И. — за. Слепцова В. А. —
отсутствует». И внизу: «Слепцова В. А. (младшая) — не го-

лосовала. Учтена как седьмой пост».

— Почему вы меня учли? — спросила я.

— Потому что вы уже здесь, — сказала Марьяна Густавовна. — Устав не различает согласие и присутствие. Это его слабое место.

Лев сидел молча. Он не голосовал. Он смотрел на меня так, как смотрят на человека, которого ведут через минное поле и не могут предупредить.

— Голосуем, — сказал Пётр Ильич. — Кто за то, чтобы предложить Веронике Аркадьевне занять седьмой пост до пятницы?

— Это не голосование, — сказал Лев.

— Это собор. Здесь всё голосование.

— Это шантаж.

— Это устав.

— Устав писали люди, у которых не было детей.

— У них были дети, — сказала Антонина Павловна. — Просто они умерли.

Голосовали поднятием рук. Пётр Ильич — за. Антонина Павловна — воздержалась. Гурий Афанасьевич — против. Марьяна Густавовна — за, потому что «протокол требует определённости». Лев — против.

Получилось два против, два за, один воздержался.

— Ничья, — сказала Марьяна Густавовна. — По уставу ничья означает отсрочку.

— До когда? — спросила я.

— До пятницы, — сказал Пётр Ильич. — В пятницу мы соберёмся снова. Если вы не согласитесь, мы будем вынуждены поддержать предложение Канцелярии.

— Вы не будете.

— Будем. — Он посмотрел на меня. — Не потому, что мы злые. Потому что мы старые и устали. И потому что у нас нет другого выхода.

Я посмотрела на Льва. Он отвернулся.

— Хорошо, — сказала я. — Я подумаю.

— До пятницы, — повторил Пётр Ильич.

— До пятницы.

Я взяла куртку и вышла. На лестнице было холодно. Я слышала, как за дверью Гурий Афанасьевич сказал: «ОНА НЕ ПРИДЁТ». И Антонина Павловна ответила: «Придёт. Она уже видит».

* * *

Лев догнал меня на улице. Он не взял пальто, и снег ложился ему на плечи.

— Ты не должна была это слышать, — сказал он.

— Я всё слышала.

— Это не значит, что это правда.

— А что правда?

Он помолчал.

— Правда в том, что старики боятся. И я боюсь. Мы держали этот город столько лет, что забыли, зачем. Теперь появилась ты, и мы хотим переложить на тебя то, что не смогли

удержать сами.

— И что мне делать?

— Не знаю. — Он посмотрел на меня. — Если бы я знал, я бы не был зрителем.

— Вы сказали, что завтра придут трое.

— Придут. — Он кивнул. — Кранц от Ватикана. Аким от Ключников. Феофан от Канцелярии. Каждый предложит свой способ спасти икону.

— А вы?

— Я предложу тебе уйти. — Он сказал это просто. — Взять мать, уехать, забыть. Это тоже способ.

— Вы бы так поступили?

— Нет. — Он улыбнулся. — Но я старый. Мне можно советовать другим то, чего я не сделал.

Он повернулся и пошёл к мастерской. У двери остановился.

— Ника.

— Да?

— Завтра выслушай всех. — Он помолчал. — И не верь никому. Даже мне.

Глава 4. Три делегации

*«Мы не грабим. Мы реставрируем память». М.
Кранц*

В пятницу в храм пришли трое.

Первый — в одиннадцать. Матвей Кранц, пятьдесят пять, серое пальто, серый шарф, серые перчатки, лицо человека, который спит по расписанию.

— Вероника Аркадьевна, — сказал он. — Я много слышал о вашей матери.

— Все много о ней слышали.

— Я слышал от людей, которые её знали. — Он достал из кармана часы. — Это вам. «Победа», пятьдесят четвёртый год. У вашей матери были такие. Она их потеряла.

— Она их не теряла. Она их продала.

— Значит, я купил их у человека, которому она их продала. — Он положил часы на стол. — Я коллекционирую. Не время. Механизмы.

— Зачем вы пришли?

— Предложить помощь. — Он сел на скамью, не спросив разрешения. — Мы можем взять икону на консервацию. Климат, охрана, тишина. Через год вернём.

— Через год её здесь не будет.

— Именно. — Он посмотрел на меня. — Здесь её убьют.

— Кто?

— Люди. — Он пожал плечами. — Люди всегда убивают то, что не понимают. Не со зла. Из любопытства.

— А вы понимаете?

— Нет. Но я умею хранить то, чего не понимаю. — Он кивнул на икону. — Москва не умеет хранить то, что не продаётся.

— А Рим умеет?

— Рим умеет ждать.

Он оставил визитку. На визитке было только имя и номер. Я положила её в карман, не читая.

— Вы знали мою мать? — спросила я.

— Я знал её работу. — Он поправил шарф. — В девяносто шестом она реставрировала образ в Твери. Я приезжал смотреть. Она отказалась продавать. Сказала: «Эта икона не моя. Я её только держу». Я запомнил.

— Почему?

— Потому что так говорят только два типа людей: святые и реставраторы. — Он улыбнулся. — Ваша мать была реставратором.

Он пошёл к двери. У порога обернулся.

— Вероника Аркадьевна.

— Да?

— Если передумаете, приходите сегодня вечером в «Метрополь». — Он назвал номер. — У меня есть то, что вам стоит увидеть. Не икону. Другое.

— Что?

— Вашу мать. — Он вышел.

* * *

Второй пришёл в час. Аким Прохоров, сорок девять, бо-
рода, полушубок, валенки, запах снега и печёного хлеба. Он
внёс в храм каравай и солонку и поставил на стол перед ико-
ной.

— Хлеб-соль, — сказал он. — Не подачка. Договор.

— Здравствуйте, — сказала я.

— Здравствуй, девка. — Он посмотрел на икону. — Это
она?

— Она.

Он долго молчал. Потом сказал:

— Оклад снять надо.

— Нельзя.

— Можно. — Он провёл пальцем по серебру. — Под зо-
лотом лицо. А вы поклоняетесь окладу.

— Мы не поклоняемся.

— Тем хуже. — Он посмотрел на меня. — Вы её реста-
врируете, как мебель. А она не мебель.

— Кто вы?

— Ключник. — Он показал руки. На ладонях были старые
ожоги, белые, стянутые. — Двадцать лет ношу. Спасал книги
из горящего скита. Книги спаслись. Руки — нет.

— Что вы хотите?

— Отдать её народу. — Он сказал это просто. — Не му-

зею. Не церкви. Народу. В скит. Там её будут держать те, кто помнит.

— Там её увидят все.

— И что?

— И тогда она перестанет быть замком.

— Может, и хорошо. — Он усмехнулся. — Может, хватит держать. Может, пора открыть.

— Вы понимаете, что тогда будет?

— Понимаю. — Он посмотрел на меня. — Я боюсь, что Он никогда не проснётся. А вы боитесь, что проснётся. Вот и вся разница.

Он достал из-за пазухи небольшую книгу в кожаном переплёте. Страницы были обожжены по краям.

— Это устав, — сказал он. — Наш. Список с закладной грамоты. Мы его спасли в двадцать девятом. — Он открыл страницу. — «А кто слово нарушит, тот имени лишится, и дверь его не помнит». Знакомо?

— Знакомо.

— Это не ваша церковь придумала. Это приход придумал. А приход — это люди. — Он закрыл книгу. — Вы думаете, что мы хотим разрушить. Мы хотим вернуть. Вернуть людям право помнить, а не право забывать.

— А если они не выдержат?

— Тогда они умрут. — Он сказал это без злости. — Люди умирают от правды каждый день. Это не самый плохой способ.

— А дети?

Он помолчал.

— Дети — нет, — сказал он. — Детей не трогайте.

— Феофан хочет переложить на ребёнка.

— Феофан — не мы. — Аким посмотрел на меня. — Он хочет не открыть, а перепрятать. Он боится Свидетеля больше, чем мы. Просто он называет страх порядком.

Он взял каравай, отломил кусок и положил перед иконой.

— Приезжайте к нам, — сказал он. — В скит. Сами увидите, как мы живём. Я не буду уговаривать. Уговор — это торг. А я пришёл не торговать.

— Где ваш скит?

— В рязанских лесах. Два часа от Москвы, если ехать с умом. — Он усмехнулся. — Или четыре, если с Аркадием.

— С каким Аркадием?

— С тем, который вас привезёт. — Он пошёл к двери. — Он не любит, когда его ждут.

Он ушёл, оставив хлеб. Лев Аркадьевич взял каравай, отломил кусок, понюхал.

— Хороший хлеб, — сказал он. — Жаль, дурак.

— Он не дурак.

— Не дурак, — согласился Лев. — Хуже. Честный.

* * *

Третий пришёл в три. Епископ Феофан, шестьдесят шесть, в чёрном пальто, с белым шарфом, с папкой и термосом. У него было лицо человека, который давно не спит и

считает это нормой.

— Вероника Аркадьевна, — сказал он. — Я пришёл не отнимать.

— А что делать?

— Предложить решение. — Он сел. — Вы знаете, что такое перезапись якоря?

— Нет.

— Это когда нагрузка переносится с одного человека на другого. Добровольно. Под контролем. — Он открыл папку. — У нас есть кандидат. Кирилл Ветров, девять лет. Мальчик видит истинные лица. Он всё равно не спит. Мы предлагаем не убивать его, а дать ему работу.

— Вы предлагаете сломать ребёнка.

— Я предлагаю не сломать город. — Он положил на стол лист. — Это согласие матери. Вера Аркадьевна подписала.

Я взяла лист. Подпись была мамина. Я знала её: мелкая, с наклоном вправо, с длинным хвостом у «а».

— Это подпись, — сказала я. — Но не её рука.

Феофан посмотрел на меня.

— Что вы имеете в виду?

— Она никогда не подписывала документы правой рукой. У неё была травма. Она подписывала левой. — Я вернула лист. — Это копия. Кто-то обвёл её подпись.

Феофан не изменился в лице. Он аккуратно сложил лист и убрал в папку.

— Вы ошибаетесь, — сказал он. — Но я не буду спорить.

— Он встал. — Я оставлю вам адрес. Подумайте. У вас есть время до пятницы.

— До какой пятницы?

— До ближайшей.

Он пошёл к двери, потом остановился.

— Вероника Аркадьевна, — сказал он. — Вы думаете, что я чудовище.

— Я думаю, что вы устали.

— Это одно и то же. — Он посмотрел на икону. — Я видел, как город забывает. В девяносто первом, когда сгорел манеж. В две тысячи пятом, когда отключили свет. Люди стояли на улице и не помнили, куда шли. Это не метафора. Это физиология. Если Свидетель проснётся, они вспомнят всё сразу. Сердце не выдержит.

— Поэтому вы вычёркиваете людей?

— Поэтому я даю им забыть. — Он поправил шарф. — Это милосердие. Неприятное, как укол. Но милосердие.

— А мальчик?

— Мальчик будет жить. — Феофан сказал это тихо. — Он будет видеть то, что видит. Мы будем рядом. Он не будет один.

— Вы были рядом с моей матерью?

Феофан не ответил. Он вышел.

Лев Аркадьевич смотрел ему вслед.

— Он не врёт, — сказал он.

— Он подделал подпись.

— Он думает, что не подделал. — Лев покачал головой. — Он думает, что восстановил справедливость. Это хуже вражья.

* * *

Вечером мы сидели в мастерской. Лев пил чай с леденцами, я смотрела на кальку.

— Почему вы не выгнали их? — спросила я.

— Потому что они не враги. — Он помешал чай. — Они просто не знают, что делают. Как и мы.

— Они хотят забрать икону.

— Все хотят забрать икону. — Он посмотрел на меня. — Ты заметила? Никто из них не спросил, что она хочет.

— Икона?

— Нет. Ты.

Я не ответила.

— Иди домой, — сказал он. — Завтра приходи в музей. Я покажу тебе то, что под записью.

— Что под записью?

— Лицо.

Он проводил меня до двери. На улице было минус восемнадцать, и снег скрипел под ногами, как крахмал.

— Лев Аркадьевич.

— Да?

— Вы верите в Бога?

Он подумал.

— Я верю в краску, — сказал он. — В грунт. В то, что если

правильно укрепить левкас, икона будет стоять ещё двести лет. Этого достаточно.

— А если нет?

— Тогда я зря прожил жизнь. — Он улыбнулся. — Но я не зря прожил жизнь.

— Лев Аркадьевич.

— Да?

— Что мне делать с ними?

Он помолчал.

— Сегодня вечером Кранц ждёт тебя в «Метрополе». Иди. Завтра Аким повезёт тебя в скит. Поезжай. Послезавтра Феофан вызовет тебя в Канцелярию. Иди и туда. — Он посмотрел на меня. — А в воскресенье вечером приходи в музей. Я покажу тебе то, что под записью.

— Почему не сейчас?

— Потому что сейчас ты будешь смотреть на них, а не на икону. — Он открыл дверь. — Сначала выслушай всех. Потом посмотри на лицо.

Я вышла. У «Третьяковской» купила пирожок с капустой, обожгла язык и подумала, что завтра всё будет ясно.

Глава 5. Коллекция

*«Время — единственное, что нельзя подделать.
Можно только остановить». М. Кранц, из
каталога*

В «Метрополе» пахло воском, кофе и чужими духами. Я прошла через вестибюль, мимо стойки, за которой стоял человек с лицом менеджера и глазами охранника, и поднялась на третий этаж.

Кранц открыл дверь сам. Он был без пальто, в сером костюме, и вблизи казался меньше, чем в храме.

— Спасибо, что пришли, — сказал он. — Я не думал, что вы придёте.

— Я тоже.

Номер был большой и почти пустой. Кровать, стол, два кресла, чемодан. На столе — плоский чёрный футляр, похожий на футляр для скрипки. Кранц открыл его.

Внутри, в бархатных гнездах, лежали часы. Много часов. «Победа», «Ракета», «Восток», «Заря», «Слава», «Молния». Круглые, квадратные, в латунных и стальных корпусах, с бумажными циферблатами и эмалевыми.

— Садитесь, — сказал он. — Чай? У них есть хороший чай, но они не умеют его заваривать.

— Спасибо.

Он налил чай в фарфоровую чашку. Потом сел напротив и взял первые часы.

— «Победа», пятьдесят четвёртый. — Он повернул их. — Принадлежали машинисту метро. Он водил поезд тридцать один год. В последний день смены остановил состав на «Площади Революции», вышел из кабины и умер. Часы остановились в 16:40. Их сняли с него в депо и продали. Я купил.

— Зачем?

— Потому что они помнят. — Он положил часы. — Механизм не думает. Он идёт. Если его остановить, он остаётся в том времени, в котором его остановили. Это единственная форма верности, которая мне доступна.

Он взял следующие.

— «Ракета», семидесятый. Принадлежали учительнице. Она носила их сорок лет. На крышке — царапины от парты. Она ставила руку на стол, когда проверяла тетради. Часы помнят парту.

— Вы собираете не часы, — сказала я. — Вы собираете людей.

— Я собираю то, что от них осталось. — Он посмотрел на меня. — Люди умирают. Вещи остаются. Иногда вещи помнят больше, чем люди.

— Это вы сказали моей матери?

— Ваша мать сказала это мне. — Он взял часы с золочёным корпусом. — «Победа», пятьдесят четвёртый. На крышке — гравировка: «В. С. 1996». Она продала их в Твери, в

комиссионный магазин на Советской. Я купил их через год. Она сказала, что не жалеет.

— Почему она их продала?

— Не знаю. — Он пожал плечами. — Она сказала: «Мне нужны деньги на краску». Я не поверил. Краска стоит дешевле.

Я взяла часы. Они были тяжёлые, холодные, с потёртой крышкой. На обороте действительно была гравировка, мелкая, почти стёртая. «В. С. 1996». Я провела пальцем по буквам. Мама никогда не говорила, что у неё были такие часы.

— Зачем вы мне это показываете?

— Чтобы вы поняли, что я не враг. — Кранц откинулся в кресле. — Я не хочу вашу икону. Я хочу, чтобы она была в месте, где её не съедят.

— В Риме?

— В Риме. — Он кивнул. — У нас есть лаборатория, климат, охрана. И у нас есть опыт. Мы храним вещи, которые никто не понимает, уже пятьсот лет.

— И что вы с ними делаете?

— Ничего. — Он улыбнулся. — Это самое трудное. Ничего не делать. Не реставрировать, не продавать, не выставить. Просто держать.

— Это музей.

— Это монастырь. — Он поправил чашку. — Музей показывает. Монастырь хранит.

Я посмотрела на часы. Их было сорок или пятьдесят. Каж-

дый с карточкой. На карточках — имена, даты, города.

— Вы знаете, что в иконе? — спросила я.

— Нет. — Он сказал это без колебаний. — Я знаю, что она делает. Она держит лицо. И я знаю, что лицо начинает исчезать.

— Откуда вы знаете?

— Потому что я видел такую икону в Твери. — Он достал из футляра фотографию. — Это она. До реставрации.

На фотографии была икона, похожая на нашу, но меньше. На ней тоже было четыре фигуры. Четвёртая — с лицом. Лицо было тёмное, стёртое, но оно было.

— Что с ней стало?

— Она рассыпалась. — Кранц положил фотографию. — В девяносто восьмом. Мы не успели. Реставратор сказал, что дерево было больное. Я думаю, что она просто устала.

— Вы думаете, иконы устают?

— Я думаю, что всё устаёт. — Он посмотрел на меня. — Даже память.

* * *

Он рассказал мне о Секции тихих доктрин. Не всё, конечно. Достаточно, чтобы я поняла, что это не Ватикан в моём представлении. Это небольшой отдел, который занимается тем, что не попадает в официальные документы. Они ищут не реликвии, а «стабильные сборки» — предметы, которые удерживают реальность от распада. Они не верят в Бога. Они верят в форму.

— Мы не хотим, чтобы люди знали, — сказал он. — Знание разрушает форму. Люди начинают объяснять, перестраивать, улучшать. И форма ломается.

— Значит, вы за невежество?

— Я за молчание. — Он поднял палец. — Это разные вещи. Невежество — это когда не знаешь. Молчание — когда знаешь и не говоришь.

— И в чём разница?

— В том, кто платит.

Он встал и подошёл к окну. За окном была Театральная площадь, снег, огни, люди.

— Феофан хочет перезаписи, — сказал он. — Вы знаете, что это значит?

— Он хочет посадить мальчика на место матери.

— Он хочет посадить мальчика на место вас. — Кранц обернулся. — Вы думаете, что вы — альтернатива. Вы не альтернатива. Вы — первый вариант. Мальчик — второй.

— Что?

— Он пришёл к вам с согласием матери. Зачем? Если бы он хотел мальчика, он бы не спрашивал. Он бы просто сделал. — Кранц покачал головой. — Он спрашивает, потому что ему нужны вы. Мальчик — это рычаг. Он давит на вас, чтобы вы согласились.

— Зачем ему я?

— Потому что вы видите. — Кранц посмотрел на меня. — Мальчик видит истинные лица. Это редкий дар. Но он

не умеет держать. А вы умеете. Вы реставратор. Вы держите вещи, которые старше вас. Вы не верите. Вы не молитесь. Вы идеальный часовой.

— Я не хочу быть идеальной.

— Никто не хочет. — Он улыбнулся. — Но это не имеет значения.

* * *

В дверь постучали. Негромко, три раза. Кранц посмотрел на дверь, потом на меня.

— Вы кого-то ждёте? — спросила я.

— Нет.

Он подошёл и посмотрел в глазок. Потом вернулся.

— Внизу человек в сером пальто, — сказал он. — Он стоит у лифта уже полчаса.

— Кто он?

— Не знаю. Но он не из моих. — Кранц взял часы со стола и положил их в футляр. — Выйдете через кухню. Там есть служебный лифт. Я скажу, что вы ушли.

— А вы?

— Я останусь. — Он закрыл футляр. — Мне нечего бояться. Я гость. Гости неприкосновенны.

— Это Москва.

— Это «Метрополь». — Он улыбнулся. — Здесь неприкосновенны даже гости.

Он проводил меня по коридору. На кухне пахло рыбой и лимоном. Повар в белом колпаке посмотрел на нас и отвер-

нулся.

— Вероника Аркадьевна, — сказал Кранц у служебного лифта. — Возьмите.

Он протянул мне часы «Победа» с гравировкой.

— Я не могу.

— Это не подарок. Это улика. — Он вложил их мне в руку. — Ваша мать продала их, чтобы купить вам кисти. Я узнал об этом в Твери. Она сказала: «Девочка должна писать». Не «учиться». Писать.

Я посмотрела на часы. Они были холодные.

— Почему вы мне это рассказываете?

— Потому что вы думаете, что она вас не любила. — Он нажал кнопку лифта. — Она любила вас так, что продала время.

Двери открылись. Я вошла. Кранц остался в коридоре.

— И ещё, — сказал он. — Когда Феофан предложит вам выбор, спросите себя: почему он не предложил его вашей матери?

Двери закрылись.

* * *

Я вышла на улицу через служебный вход. Мороз ударил в лицо. На Театральной площади шёл снег, и люди бежали к метро, поднимая воротники.

Я увидела серое пальто у колонны Большого театра. Человек не смотрел на меня. Он смотрел на телефон. Я пошла к «Театральной», вошла в метро, спустилась на эскалаторе.

На платформе было полно народу. Я села в поезд, вышла на «Новокузнецкой», перешла на «Третьяковскую», села в другой поезд. Серого пальто не было.

Я ехала домой и держала часы в кармане. Они были холодные, но постепенно становились тёплыми.

Дома мама спала. На кухне горел свет. Я села за стол, положила часы перед собой и долго смотрела на гравировку. «В. С. 1996». Мама продала их, чтобы купить мне кисти. Я пыталась вспомнить те кисти. Не смогла. Я помнила только запах скипидара и её руки, которые поправляли мои пальцы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.